

# Книга II. Бакалавр-циркач (отрывок)

1881, источник: [здесь](#).

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [Примечания](#)

Это было в последний день гуляния на Монмартре. На подмостках какого-то балагана усердно зазывал публику охрипший паяц, тыча грязной тростью в грудь намалеванного масляной краской великана, вокруг которого толпились на афише голубые герцогини и вишневые дипломаты.

Я вошел. Я всегда захожу в такие места: всю жизнь меня тянуло к монстрам. Мало найдется голов — голов Циклопа или Аргуса, крошечных или громадных, плоских или квадратных, похожих на тыкву или на доску ломберного стола, которых бы я не ощупал и не обмерил, по которым не постучал бы с целью узнать, что же находится там, внутри.

Я нагибался к карликам и со всех сторон осматривал колоссов; я стискивал руками людей, вовсе не имевших рук, и таких, у которых их было слишком много; я видел людей с клешней, как у омара, и мои друзья живописцы не раз малевали для меня заморских дикарей.

Не потому, чтобы я любил безобразное, нет. Мне просто хотелось знать, какую частицу души оставил бог в этих плохо сколоченных телах, какая доля человека содержится в уроде.

Я спрашивал себя, как живут эти странные выродки, эти целомудренные жрецы уродства мужского и женского пола. Чтобы узнать это, сколько раз поднимался я по гнилым задним лесенкам балаганов, и шесть ступенек переносили меня из реального мира в страшный мир, населенный необычайными потрясениями и существами без имени.

Театр, о котором я говорю, был очень убог. Он был сооружен из нескольких досок, положенных на подгнившие балки; холщовые стены надувались и хлопали от ветра, и дождь проникал сквозь тент, который был скроен из выпотрошенного старого матраца.

Однако актеры с первого взгляда возбудили во мне любопытство, хотя их было всего трое. Они выходили по очереди:

клоун, который жидельким голоском пропел «Прекрасную бур-бонезку», этот сонет циркового Арвера[1]; женщина с нежными глазами и сильными, еще белыми руками, с легкостью манипулировавшая тележной осью; и, наконец, «на закуску» — великан.

Это был великолпно сложенный мужчина лет тридцати двух — тридцати пяти, со смуглым и печальным лицом, не без изящества носивший генеральский мундир.

Он начал свой номер и рассказал нам о себе, о том, где он родился. Потом внезапно переменял тон.

— Я получил образование, — сказал он, — и говорю на пяти языках. Я бакалавр.

Аудитория, состоявшая из семи — восьми празднующихся, рабочих, военных и нянек, выказала удивление.

Он продолжал:

— Если господа\* угодно будет сделать мне честь и поговорить со мной по — английски, по — итальянски, по — гречески, по- латыни и по — французски, я отвечу на любом из этих языков.

На сцене появилгя клоун.

— А ну, живые языки, мертвые языки! — крикнул он. — Не угодно ли вам, господин с книжкой?

Эта фраза относилась ко мне: под мышкой у меня была какая-то книга. Публика насмешливо ухмылялась; великан поставил меня в неловкое положение.

Любопытство и самолюбие заговорили во мне, и я приступил к форменной осаде человека, выдававшего себя за бакалавра. Живые языки я отбросил — бродячие фокусники научаются им в своих странствиях, — но я выдвинул против него мертвые языки и, дэлжен сознаться, вышел из поединка разбитым, побежденным. Он знал наизусть «Энеиду» и мог бы с листа переводить Пивдара.

Зрители, очень довольные моим смущением, уплатили свои два су и разошлись я же остался.

Человек — чудо предупредил мои вопросы; повесив свою треуголку с трехцветным султаном на крюк под самым небом, он спустился с подмостков и сказал:

— Вы спрашиваете себя, сударь, каким образом бакалавр мог превратиться в циркача и как он мог так хорошо овладеть греческим языком, находясь в балагане. Вы пытаетесь разгадать эту историю — что же, я расскажу вам ее, если хотите. Приходите сегодня вечером на бульвар Амандье в гостиницу «Ученая собака» и подюкдите меня внизу, в кафе. Я приду в одиннадцать часов.

Раздался барабанный бой.

— Это кончилась вступительная сцена, — сказал великан, — я должен снова взобраться на свой трон. Итак, до вечера, и главное, — добазил он шепотом, — никому ничего не говорите.

Я снова поднялся в балаган; клоун на подмостках дурачился с женщиной — геркулесом и вдруг звонко поцеловал ее почти в самые губы.

В эту минуту сквозь дыру в холстине я заметил великана; он был смертельно бледен.

Вечером я пришел в гостиницу «Ученая собака». Великан не заставил себя ждать. Он сменил свою треуголку на старую бархатную фуражку и прикрыл короткие красные штаны рваным

пальто.

— Давайте поднимемся ко мне, — предложил он, — моя комната наверху, под крышей, там мы будем одни, и я смогу говорить свободнее.

Я последовал за ним, и, взобравшись по грязной лестнице на шестой этаж, мы вошли в чистенькую комнату. Он наклонился, переступая порог, сделал, не разгибая спины, несколько шагов, сел и зажег свечу.

Я окинул взглядом комнату. Ничто не выдавало в ней жилища циркача. На некрашенных деревянных полках стояло несколько книг с золотым обрезом, с вложенными в них зелеными или розовыми ленточками — закладками; одни были в синих переплетах, другие украшены скрещенными пальмовыми ветвями.

— Это награды, полученные мною в школе и в коллеже, — сказал великан. — Хотите взглянуть на мой диплом?

Он открыл ящик, но, отыскивая диплом, нечаянно вытащил какой-то медальон и поспешил засунуть его обратно под бумаги.

Я не успел рассмотреть лицо, но он уловил мой взгляд.

— Это она, — сказал он, — женщина — геркулес из нашего балагана, та самая, которую Бетине так крепко целовал сегодня утром... А теперь я расскажу вам мою историю. Прошу вас, садитесь поудобнее и слушайте, пока не надоест. Кстати, мне самому приятно будет поговорить с человеком, у которого только одна голова.

Я невольно дотронулся до головы, словно желая убедиться, что она действительно одна. Великан улыбнулся и начал.

— Когда я болтаю перед публикой, то говорю, что родился на самой высокой вершине Альп от отца — карлика и крошки- матери, что нас было семь человек детей и что я самый маленький из семи. В действительности же я родился в Коррезе, у меня нет братьев и мои родители вполне нормальные люди.

Я окончил учительскую семинарию, степень бакалавра получил в Тулузе, призывался в своей деревне. За неделю до жеребьевки я, чтобы избежать солдатчины, подписал контракт на десятилетнее преподавание в школе, предпочитая стать репетитором в коллеже, нежели тамбурмажором в армии. И я сделал это весьма кстати, так как вслед за тем вытянул № 11, другими словами — «две жерди» или «ноги господина мэра», номер, который теперь во всей округе называют не иначе, как «ходулями великана».

На следующий же день я явился в коллеж, где мне поручили заниматься с младшими.

Бедные малыши! Увидев, что в их низенькую классную комнату, всю пропахшую чернилами, вошел этот бесконечно длинный человек, они задрожали от страха. Это длилось недолго. Не прошло и недели, как они уже не боялись меня и со мной, Голиафом, считались несравненно

меньше, чем с тщедушным недоноском жалкого роста и еще более жалкого веса, который, однако, умел усмирять непокорных одним жестом.

Они так издевались надо мной, клали столько конского волоса в мою постель и столько гороха на мой стул, что меня убрали оттуда и дали мне другой класс, постарше. Это было повышением. Я был обязан им, как это часто бывает, своей бездарности и главным образом покровительству старшего викария, благодарного мне за то, что я с моим компрометирующим ростом не избрал для себя духовной карьеры: раздавая благословения, я вызывал бы смех над самим богом, и, кроме того, я не смог бы уместиться в исповедалне.

Я едва умещался и в коллеже. Я стучался головой, входя в классы; я подпирал потолки, сшибал лампы; во время торжественных церемоний все смотрели на меня одного. Директор завидовал мне.

И все же, находя возможность посылать немного денег матери, чувствуя себя полезным, я был почти счастлив, скромно съездившись в своем уголке. Когда приходило начальство, я наклонялся. Чтобы не приходилось слишком высоко поднимать голову другим, опускал голову я сам; я съезживался, я сгибался в три погибели. Надо мной насмехались, я не обращал внимания; когда шутка была позади, я снова распрямлялся. У меня хватало здравого смысла не слышать с высоты моего роста всего того, что говорилось. Малыши наслаждались. Так бывает везде — в учебных заведениях, в правительстве, на подмостках.

Карлики всегда мучают великанов.

Насмешки коллег и учеников ничуть не огорчали меня, а порой даже забавляли. Но когда случалось, что какая-нибудь девушка или молодая женщина показывала на меня пальцем и шептала: «Их двое, он влез на плечи к своему брату», «Это он нарочно, на пари», «Он деревянный», «Ну и верзила!» — то эти шутки удручали меня, я задыхался, и моему сердцу не хватало места в груди, хоть это и была грудь великана.

Между тем молодость громко заявляла о себе в моем громадном теле. Одиночество давило меня, по ночам я предавался любовным грезам — мечтатель в оболочке Геркулеса.

Однажды я вздумал посвататься к дочери одного из моих коллег, в доме которого чаще ели вареный картофель, чем ростбиф, а за частные уроки брали плату сыром. Я явился туда в достаточно длинных брюках и привел данные о своих сбережениях. Девушка расхохоталась мне в лицо, и я вышел, пятясь задом, оставляя часть волос на потолке и на притолоке двери.

Это была первая попытка, она же стала и последней, и я безмолвно вернулся к своему одиночеству. Иногда я получал письма. В записочках, надушенных амброй, мне назначали свидания. Я шел на них с трепетом, возвращался с чувством стыда. Женщины приглашали меня, как приглашают уроды; им хотелось взглянуть, как сложен великан. Изредка приглашение возобновлялось, но я не шел, — я ждал, чтобы какой-нибудь несчастный случай сделал меня меньше ростом или чтоб горе согнуло мою спину.

О, сколько раз по вечерам, когда я выпускал свои шесть футов и пять дюймов подышать свежим воздухом под старыми каштанами, во мне замолкал великан и начинал громко

кричать мужчина. Выпрямившись во весь мой громадный рост, я простирал руки к небу; при свете луны моя тень на желтом песке казалась бесконечной и пугала парочки, тихо шептавшиеся под высокими деревьями.

Часовые прекращали свою ночную прогулку.

— Это тамбурмажор, — говорили они. — Он немного подвыпил.

Бедный тамбурмажор! Мои проклятья они принимали за его ругань, а мой безумный бред — за его пьяную болтовню. Наконец он заявил в солдатской столовой, что не позволит мне больше ходить на прогулки и не желает слыть пьяницей из-за того, что я осёл.

Так текла моя жизнь; бывали вечера смирения, бывали и вечера грусти. В один из таких вот вечеров я услышал на улице сильный шум и выглянул в окно.

Эта минута решила мою участь. Был бог жесток ко мне, или он был добр? Не знаю. Этому случаю я обязан тем, что перестал быть человеком и превратился в «чудо», и, разумеется, это грустно. Но если я перенес ужасные муки, то пережил и счастливые минуты, и я, хоть я и «монстр», не отдал бы своих страданий за радости других.

— Это была труппа бродячих актеров, которая обходила город и объявляла под звуки тромбона и барабана о том, что завтра и в последующие дни она даст на базарной площади несколько представлений.

Три немца с 1'олстыми губами и кротким взглядом, в оливковых сюртуках и зеленых фуражках, дули, раскачивая головой, в медные и деревянные трубы. И вдруг зашумело все: маленький барабанщик громко забил зорю, цимбалист едва не разбил своих тарелок, кларнетист чуть не до крови укусил свой инструмент, тромбонист издал несколько пронзительных и фальшивых звуков.

Появилась директриса труппы.

Она dokonчила вступительное слово, начатое паяцем, расхвалила всю свою труппу — труппу мадам Розиты Феррари — и пообещала приложить все усилия, чтобы заслужить аплодисменты публики.

Я слушал ее, скорее удивленный, чем взволнованный, но когда, кончив свою речь, она начала танцевать, аккомпанируя себе кастаньетами, и я увидел черный бархатный корсаж, плотно охватывавший ее стан, высокую грудь, обнаженные руки, ее улыбку и растрепавшиеся на ветру волосы, кровь во мне закипела, лицо запылало, грудь распрямилась, и все мое длинное существо затрепетало перед этой живой статуей сладострастия и молодости.

Передо мною в каком-то вихре носились и блестели серебряные звезды на юбке, диадема из голубого бисера, зеленые ленты, красный шарф, и сердце мое громко стучало, отвечая на звон браслетов с погремушками, надетых на ее белые руки.

Наконец она остановилась, запыхавшаяся и великолепная. Ее тело выступало из узкого трико, чулки и корсет трещали по швам, грудь волновалась, юбка обрисовывала выпуклую линию бедер, побледневшее лицо выражало усталость и гордость.

Она рассеянно взглянула на меня и, видимо, удивилась, разглядев мои шесть футов и пять дюймов. Я отвел взгляд и отошел от окна, но успел заметить, как она показывала клоуну и музыкантам на это долговязое, убежавшее от нее привидение.

Однако на следующий день, к началу представления, до вечерних занятий в школе, я пришел в балаган. Я стал бывать там ежедневно, и каждый раз она смотрела на меня, каждый раз я убежал, смущаясь и заболевая все серьезнее, вызывая крики тех, кого я расталкивал, когда уходил. После уроков я шел за город и бродил там, чувствуя огонь в голове и в сердце, — а еще говорят, что на вершинах гор царит прохлада!

В это дело вмешался случай, хотя, пожалуй, я и сам помог ему немного. Как-то раз, после моего очередного бегства, я вдруг очутился, обогнув старую городскую стену, перед большой желтой повозкой; то было жилище бродячих актеров. Они заметили мою голову, возвышавшуюся над стеной, и Поваренок — таково было прозвище паяца — сообщил об этом Розите.

Внезапно увидев ее перед собой, я уменьшился ростом на целый фут и сделался красен, как штаны шута. Меня привело сюда слепое желание. Я сам не сознавал хорошенько, что делаю, не приготовил никаких слов, никаких извинений и теперь не знал, как объяснить свое присутствие, не знал, оставаться мне или бежать. Но она узнала меня, улыбнулась, и пропасть между нами исчезла. Поваренок кинул, как мостик, непристойную шутку, лед растаял, мы разговорились.

Я придумал, будто собираюсь написать книгу о бродячих актерах, добавил, что мой рост делает меня почти своим человеком в их среде, что я побывал за кулисами у всех решительно циркачей, приезжавших в город, и хочу в моих «Тайнах балагана» описать также и труппу Розиты.

Я был одновременно и любопытствующим и предметом любопытства; циркачи улыбнулись, Поваренок измерил мой рост, а Розита показала мне в иллюстрированном журнальчике одного большого южного горо. да свой портрет и краткую биографию. Я почувствовал, что ревную, читая похвалы, расточаемые ей кем-то другим.

Я обещал, что буду приходить, и действительно каждый вечер, после захода солнца, я крался в сторону Зеленой дороги, где стоял караван, и подолгу просиживал там под тем предлогом, будто мне очень интересно слушать разные забавные истории и записывать их. Приходила Розита, всегда кокетливая, не забывая сохранить на себе что-либо от своего цыганского костюма — какую-нибудь поддельную драгоценность, увядший цветок, обрывок шарфа; она рассказывала о своих странствиях, я — о моих невзгодах. Иной раз я приносил ей стихи, она подбирала мелодию и напевала их, танцуя. Кончив танец, она падала, задыхаясь, в мои объятия, но сейчас же весело ускользала. Я не смел бежать за ней, и мое огромное тело изнывало в тоске желанья. Однако, возбуждая этой жестокой

непринужденностью и случайными ласками мою любовь, она никогда не давала понять, что догадалась о ней, и гасила пожар взрывом смеха.

— Кто же была она, эта женщина с нежным голосом и кроткими глазами, женщина, которая вела бродячую, полную приключений жизнь в обществе бесстыдных клоунов и борцов — любовников проституток, женщина, с невозмутимым спокойствием управлявшая этим стадом мужчин и уродов?

По ее словам, она была вдова; три месяца назад ее муж, «Северный Алкид», расшибся насмерть, исполняя акробатический номер в какой-то голландской деревушке; она собрала остатки своего жалкого состояния и организовала труппу, состоявшую из дрессированной лошади, клоуна по прозвищу Поваренок — старого друга ее мужа, и человека — змеи. Сама она танцевала, работала с гириями, разыгрывала пантомимы и в случае надобности заменяла акробата.

Она уверяла\* что начала заниматься всем этим лишь в двадцатилетнем возрасте, когда она и муж остались без работы, — до того они были рабочими на шелковой фабрике в Лионе, — и муж стал зарабатывать тем, что поднимал тяжести. Он занял у кого-то болт, запасся камнем и, получив разрешение, начал жонглировать на площади пятидесятикилограммовыми гириями.

Теперь они уже не ложились спать на пустой желудок; честный труд отказался от них, они обратились в поисках заработка к этому безыменному труду, и балаган оказался щедрее, чем мастерская.

Вот все, что я знал о ее жизни, все, что она пожелала рассказать о себе. Впрочем, какое мне было дело? Окажись она запятнанной грязью или кровью, я, быть может, стал бы оскорблять ее, презирать, проклинать, но — увы! — я любил ее и все равно простил бы ей все. Я любил ее голос, оставшийся звонким, и глаза, не потерявшие нежности в этой атмосфере порока, любил наивный вид этой канатной плясуньи в ее мишурном наряде. Пусть ее наивность была притворством, все равно я восхищался ею.

Контраст был необычаен: мне казалось, что я встретил некую Марион Делорм или Манон Леско, и в эту грудь искательницы приключений, под это желтое трико, я вкладывал сердце любящей женщины, сердце, которое я хотел заставить биться для меня одного, забывая, что на этом пути очень легко из Дидье[2] превратиться в Дегрие[3].

Впрочем, порядочность женщин в ярмарочных балаганах встречается не так редко, как это принято думать. То, что пленило меня в Розите, много раз попадалось на моем пути. Только предрассудок создает этой семье странников репутацию порока и разврата. Они разделяют вечную участь всех бродяг: люди всегда обвиняют в преступлении тех, кто ушел.

В мире циркачей можно быть столь же добродетельным, как и во всяком другом мире, и, поверьте мне, я видел женщин, проделывавших самые рискованные па на сцене, а за кулисами державших себя очень скромно и являвших собой чудо добродетели в частной жизни.

Так или иначе, но Розита, казалось, не понимала меня, и я не мог отважиться на признание.

— Между тем я худел не по дням, а по часам. Налитые кровью глаза сверкали на моем бледном лице, словно фонари на длинном шесте фонарщика; одежда болталась на моей отощавшей фигуре, и вечером посреди поля я напоминал огородное пугало.

Выдумка Поваренка положила конец этому тягостному положению: он решился ускорить развязку смелой шуткой.

Однажды я был на площади во время представления. Начался номер дрессированной лошади.

Она сосчитала до десяти, показала, который час, утвердительно кивнула головой, когда ей предложили сахар, и отрицательно, когда ей показали палку.

— А теперь, милая лошадка, — крикнул Поваренок, — не скажешь ли ты нам, кто из нас самый горький пьяница?

Лошадь два или три раза обошла круг и после некоторого колебания остановилась перед человеком с красным носом. Все захохотали, и человек с красным носом — громче всех.

— Ну, а теперь скажи нам, кто самый влюбленный? — проговорил Поваренок, посмотрев на Розиту, которая побледнела; я почувствовал, что тоже бледнею.

Лошадь сделала два круга, причем оба раза нерешительно замедляла шаг, проходя мимо меня. Я дрожал. В третий раз она остановилась прямо передо мной.

Я искал взглядом Розиту. Она спряталась, а я прирос к месту, красный до ушей и дрожа с головы до ног.

Раздался хохот. В меня кидали яблоками, раздавалось гиканье, и если бы не Поваренок, который загладил свою вину, схватив за хвост какую-то собачонку, случайно забредшую на сцену, этому не было бы конца.

Публика забыла обо мне, занявшись собакой, а я поторопился уйти. Мои длинные ноги сослужили мне службу, и вскоре я был дома.

Едва успев прийти, я разрыдался. Я плакал, как ребенок. Мои громадные руки были мокры от слез, и я уже не мог разглядеть в разбитом зеркале своих глаз. Я сел у окна, которое выходило на кладбище, чтобы ветер, овевавший верхушки кипарисов, осушил мне лицо и освежил голову. Долго сидел я так, облокотясь о подоконник, и вдыхал полной грудью вечерний воздух. Этот поток слез как будто затопил мою память, и только где-то на поверхности плавало воспоминание о грустных переживаниях этого дня.

Было поздно; фонарщик давно погасил фонари, мои соседи— рабочие, не имевшие ни жен, ни детей, вернулись домой; подавленный горем и усталостью, я тоже растянулся на кровати и заснул.

От этого тяжелого сна. меня внезапно пробудил стук в дверь.

— Кто там? — с удивлением спросил я.

Ответа не было.

Я повторил вопрос.

То же молчание.

Вдруг у меня мелькнула одна мысль, и вся кровь прилила к сердцу. Я ощупью добрался до двери и отворил ее.

Кто-то вошел и сейчас же закрыл ее за собой.

— Это я, — произнес голос, от которого я затрепетал, — Вы?

— Я видела с улицы, как вы плакали... Осторожнее, на мне ожерелье из бубенчиков...

На следующий день я не пошел в школу, а Розита не играла в балагане.

Весь день она просила у меня прощения за Поваренка, а Когда она уходила, я высыпал ей в карман всю сахарницу.

— Для лошадки, — сказал я, улыбаясь.

— Сохрани на память ожерелье, — проговорила она.

Великан постучал по комоду.

— Оно здесь, — прибавил он и продолжал: — Розита стала ходить ко мне, и я бывал в балагане. Я проводил ночи под дощатой крышей фургона, там, где прежде стонала, ворчала целая толпа чудовищ. Порой мне казалось, что посреди тишины я слышу вой прежних его обитателей — людей или животных.

Но ничто не кричало громче и печальнее, чем моя дикая ревность

До меня она любила других. И, может быть, целуя меня, великана, она, эта цыганка, думала о другом, об умершем великане. Кто знает? Быть может, она была любовницей ужасных выроdkов. Быть может, прижимала к груди головы, в которых не было ничего человеческого... Что ж, тем лучше! Терзаясь мрачными мыслями о ее прошлом, я предпочитал думать, что ее любовниками были люди с уродливыми телами; мне страшно было предположить, что здесь, в этой тесной повозке, где люди касаются друг друга, где ремесло вынуждает всех быть на ты, она дарила свою красоту мужчинам, память о которых еще жила в ней и чей образ я не сумел изгладить.

Порою я говорил ей о своих страхах; она кидалась мне на шею и заливалась смехом.

Между тем мой образ жизни изменился, и это было замечено в коллеже. В довершение несчастья, как-то вечером нас встретили вместе за городом и узнали. По городу покати́лась молва, сильно преувеличенная. Люди, дав волю своей фантазии, стали говорить, что меня видели в клоунской одежде, видели, как я поднимал гири и дрессировал двухголовых быков.

Ученики изобразили меня на доске в виде дикаря, украшенного перьями, и рядом со мной — Розиту. Директор вызвал меня к себе и предупредил, что если я коренным образом не изменю образа жизни и тем самым не прекращу сплетен, то он уволит меня.

Я вышел от него потрясенный, ошеломленный. Угроза открыла мне глаза, и я увидел все безумие моего поведения, увидел пропасть, разверзшуюся у моих ног.

Вечером я должен был идти ночевать в фургон. Я не пошел. На другой день кто-то постучался в мою дверь. Я узнал условный стук Розиты, но не открыл. Она ушла.

Два дня я провел, не видя ее: первый — боясь услышать ее имя, клянясь себе, что это конец; второй — считая секунды до ее прихода, сгорая от лихорадки, мучаясь ревностью, полный отчаяния!

Жалкий человек! Я был не в силах бороться дольше и почти среди бела дня побежал к ней.

Она притворилась удивленной и спросила, уж не сошел ли я с уш. «Да!» — крикнул я, бросаясь к ее ногам.

Движением, полным жалости, она подняла меня и ушла в фургон, заперев за собой дверь.

Я постучался, она не ответила.

— А разве вы открыли мне? — спросила она через маленькое оконце с зелеными ставнями.

Я плакал в бессильных объятиях бескостного гимнаста, хотел подкупить Поваренка, делал подлости, был жалок.

Наконец меня простили, и я поднялся наверх.

Уходя от нее утром, я был погибшим человеком. Она оОра- щалась со мной свысока, я умолял ее — этим сказано все: на шее у меня была цепь, такая же крепкая и такая же короткая, как та, которой привязывают собаку.

— В воскресенье мы уезжаем, — сказала она, вставая.

— Уезжаете? А как же я? Что будет со мной?

— Ты останешься, найдешь другую. Если... — добавила она со смехом, — если не захочешь ехать с нами.

Я ничего не ответил, но два дня спустя я помогал Поваренку завязывать ящики и сильно ушиб плечо, сдвигая с места увязший в грязи фургон.

А в полночь кнут был в моих руках, и я гнал лошадей по освещенной луной дороге.



— Если вы хотите слушать меня дальше, — сказал великан после передышки, — я помогу вам проникнуть в тот любопытный мирок, который так плохо знают сочинители романов и на который всегда клеветает предание. Мне знакомы его своеобразные радости, его курьезные тайны. То, что расскажу вам я, будет правдиво: ведь я сам прошел через все это или, по крайней мере, видел; этим я жил, от этого и умру. Быть может, когда-нибудь, чтобы использовать свои белые волосы, я буду называть себя альбиносом. Мы говорили о дорогах, поэтому я прежде всего расскажу вам о наших поездках.

Вы видели, как движутся наши караваны — поэтическое название этих домиков на колесах. Они похожи на фургоны, увозящие побежденных в изгнание. Порой окошечко такой передвижной тюрьмы приотворяется, и в нем показывается чье-то странное лицо. Это один из путников высунул голову подышать воздухом. Завтра он вынужден будет прятаться. Здесь, в тишине, на безлюдной дороге, он может поднять голову, этот свой божественный череп, к небу. Никто не видит его... никто, кроме праведного бога, сотворившего его уродом.

Время от времени раздаются бляение, потом хрюканье, ворчанье: это какое-нибудь диковинное животное — человек или тк>лень — требует свою порцию хлеба.

У городских ворот караван останавливается, лошадь привязывают веревкой к дереву, там, где трава чуть позеленее, и она грызет корни, лижет землю.

Дети разбегаются по окрестностям, собирают дикий овес, зеленые ветки для конюшни и хворост для кухни. Путники разводят огонь и едят что придется. Слегка тренируют малышей — будущих акробатов; приводят в порядок монстров; забираются обратно в повозку, задергивают занавеску и ложатся спать.

С восходом солнца снова пускаются в путь. Завтра ярмарка, надо занять место, явиться к мэру, поставить подмости, начать зарабатывать свой хлеб.

Таковы караваны начинающих или уже прогоревших, тех, кто идет в гору, или тех, кто умирает, кто вышел из моды, кого считают слишком старым или слишком скучным, чьи звери одряхлели, чьи трубы всем приелись, а руки потеряли силу: это либо колыбель, либо могила. Такой караван катится к успеху или к пропасти — то ли по милости божьей, то ли по прихоти случая.

Караван удачников — это другое дело. Его везут лошади, имевшие некогда честь выступить в присутствии титулованных особ или же специально нанятые для этой цели в деревне или в городе.

Там имеются спальня, кухня, гостиная, печки, камин, домашний очаг. Там люди ходят друг к другу в гости и устраивают приемы.

Там чисто, пол выскоблен, навощен, покрыт ковром.

— Да вот, — сказал великан, взяв с полки своего шкафчика засаленный листок бумаги, — вот план и устав одной из тех фур, где я работал когда-то.

Я взял бумажку, развернул ее, и вот она с ее объяснениями и со всем ее своеобразием.

#### ПОВОЗКА БИССОНЬЕ, ПО ПРОЗВИЩУ «ГРЯЗНАЯ БОРОДА»

«Шесть метров в длину, два в ширину и два в высоту, разделена на две комнаты: первая — три метра пятьдесят сантиметров длины — это кухня и столовая. Мебель — стол, четыре узких и длинных ящика для сиденья, в которые можно класть носильные вещи и разную домашнюю утварь, а потому называемые скамейками — сундуками, кухонная печь, переносная, два шкафчика для провизии, или стенные буфеты, правила для обеспечения порядка в заведении. Вторая комната, она сообщается с первой двустворчатой дверью, длина два метра пятьдесят сантиметров, в глубине двуспальная кровать; эта комната, как и первая, освещается шестью квадратными форточками по сорок пять сантиметров. Повозка имеет плоскую деревянную крышу, сооруженную совсем особенным образом, причина не то в оригинальности, не то в большом опыте строителя. Это шестьсот маленьких планок по два сантиметра длины на один ширину, соединенных с помощью сорока шипов каждая, итого двадцать четыре тысячи шипов; слой белил придает этому потолку вид гипсового; описываемая нами повозка стоит на четырех колесах и на шести рессорах».

«Имеется вторая повозка, совершенно такая же, с той разницей, что первая комната служит в ней складом декораций, а вторая — это спальня для служащих заведения; над дверью вывешены следующие правила:

Пункт первый. Все служащие обязаны поочередно подметать повозку до 10 часов утра под страхом 15 сантимов штрафа.

Пункт второй. Каждый служащий должен убирать свою постель до 10 часов утра под страхом 10 сантимов штрафа.

Пункт третий. Кто возьмет и не положит на место туалетные принадлежности — 5 сантимов штрафа.

Пункт четвертый. Служащие не имеют права жечь свет дольше 15 минут после того, как лягут спать, под страхом 10 сантимов штрафа.

Пункт пятый. За курение в повозке—10 сантимов штрафа.

Во второй комнате, имеющей два метра пятьдесят сантиметров, стоят четыре односпальные кровати».

— Такова клетка, таковы правила, — продолжал великан. — Клетку любят, правила соблюдают, и все в доме живут в добром согласии. Медведи принимают участие в играх, тигр вытягивается у ваших ног, а карлик рассказывает небылицы; дело не обходится и без

сплетен.

Оборудование, состоящее из декораций и досок, прибывает по железной дороге.

Так путешествуют Лароши, Кошри, Патинуа и т. д.

Эти заезжают в гостиницы; те, что победнее, останавливаются в жалких трактирах, куда пускают и бродячих актеров. Они распрягают на темном дворе загнанную лошадь, прислоняют к стене свой дом, лохань тюленя или постель урода.

Если возможно, они располагаются лагерем на пустырях или сразу же устраиваются на ярмарочной площади: ставят на землю переносную печь, развешивают белье, заставляют кувыркаться детей, жарят колбасу. Слышится кашель колосса, шипение масла, собачий лай...

Существуют еще так называемые биасы[4], которые все свое достояние носят на себе. Это уличные фокусники; они шагают с ящиком за спиной и тащат за собой своего «медведя» — ребенка или обезьяну, брата или четвероногое. В башмаках из кроличьей кожи, в широченных штанах, в розовом трико под синей блузой, они быстро шагают по дорогам с унылым взглядом и пустым желудком, ибо все, что им удалось проглотить за день, это шпаги.

Порой такого странника сопровождает все его семейство — жена в лохмотьях, босоногие малыши. Одного он несет на плече, другого сажает верхом на ящик за спиной.

Он нюхает воздух, вопрошает горизонт.

Подул ветер, небо покраснело...

Что, если завтра будет дождь?!

Дождь — это враг, нищета, голод. Ни крестьян на площадях, ни зевак на ярмарке. О, если бы вы знали, что значит для наших бродячих трупп затянутое тучами небо!

Таковы наши странствия.

Такова жизнь, которую я вел в течение четырех лет — сначала как любитель, как какой-нибудь русский князь, сопровождающий наездницу, потом — чтобы заработать на хлеб и быть возле нее.

Я неминуемо должен был дойти до этого, и предсказать мое падение было нетрудно.

В путь я отправился с тысячей франков; их хватило на несколько месяцев. Наступил день, когда у меня остался один, последний, луидор.

Что делать?

До сих пор я еще не думал об этом.

Однако я вынужден был подумать об этом теперь.

Расстаться с ней, вернуться домой?.. Было еще не поздно.

Я сделал попытку: вечером, задыхаясь, я убежал в поле и прошагал два лье по направлению к дому...

Однако кольцо было запаяно крепко, а цепь прикована прямо к сердцу, и внезапно я остановился.

Я посмотрел туда, в сторону равнины, на белую дорогу, на зеленые деревья. Стоило мне пройти ночь, потом день, и завтра вечером я был бы в деревне, меня обняла бы старушка мать.

Но я вернулся!

Я вернулся на ярмарочную площадь и незаметно забрался в фургон, а утром я трусливо солгал что-то, чтобы остаться. Кажется, я сказал, что гостиница переполнена или слишком дорога... Впрочем, Розита не особенно настаивала на объяснениях, и я водворился в балагане.

Поездка оказалась удачной: труппа Феррани имела успех, и нам удалось добавить к уже знакомым публике актерам новых феноменов, «достойных внимания». Моя бездеятельная любовь воспользовалась этим благополучием, и я стал жить вместе со всеми, питаюсь обедами. Стыдясь есть этот незаработанный хлеб, я изобретал всевозможные способы расквитаться и принимал участие во всех работах: помогал по вечерам прибивать доски, натягивать парусину, втаскивать декорации.

Во время представления я забирался в фургон, делая вид, что читаю, и, пока Розита потела, подымая гири или увлекая в вальсе пожарных, я сидел там в полном оцепенении и, словно помешанный, отбивал худыми пальцами на темном брюхе барабана какие-то мелодии, незнакомые и мне самому.

Но вот счастье изменило нам: дождь, ужасный дождь потопил удачу труппы в самом зародыше. Этот год вверх в нищету всех бродячих актеров, не имевших в запасе денег и времени. На ярмарочную площадь, где в то время мы стояли, бедствие обрушилось с особенной жестокостью, и наступил день, когда нам пришлось обменять ломовую лошадь, возившую наш фургон, на старую слепую клячу; несчастное животное могло идти только на поводу, но безропотно таскило нас по самым трудным дорогам.

Розита ничего не говорила. Быть может, она все еще считала себя богатой. Быть может, она испытывала стыд, жалость. Я не решался объяснить себе ее молчание.

Но вот однажды в соседнем балагане умер от голода ребенок — великан. Уже два дня обитатели того фургона ничего не ели, отдавая свою порцию этому человеку — животному,

являвшемуся их последним оплотом, последней надеждой на заработок. Для того чтобы эта груда живого мяса могла продолжать жить, необходимо было кидать в нее, словно в пасть громадной печи, целые туши свежей говядины и шестифунтовые караваи хлеба. И когда денег на покупку хлеба и говядины не стало, этот колосс отдал богу то подобие души, какое у него было.

В труппе Розиты с ужасом встретили эту новость, и вечером, когда я сел за стол, уроды косо взглянули на меня.

Жалкий трус, я съедал их долю, их порции урезывались для того, чтобы я получал свою. Я выпивал последнюю каплю их вина.

Теперь надо было уходить!

Но было ли это возможно сейчас?

Уйти, как уходит пес, когда нет больше костей, когда наступил голод! Уйти после того, как она целый месяц поила и кормила меня, уйти, как неблагодарный, как презренный трус!

Я же ушел, и даже сейчас, столько перестрадав оттого, что я не сделал этого, когда еще было время, я все-таки не жалею о том, что остался. Это было бы возможно лишь в том случае, если б тяжкое бремя нужды не лежало на ней, а меня не давило еще более тяжкое бремя — благодарность. Полный отчаянья, я разрыдался, и звук моих рыданий привлек Розиту. Как ребенок, бросился я в ее объятия, прося у нее прощения, поверяя ей свою боль.

— Я знала, — сказала она и добавила с грустью: — Ты должен уехать к матери...

Слово «уехать», сорвавшееся с ее уст, не оттолкнуло, а лишь еще крепче привязало меня к ней. Словно утопающий за соломинку, я цеплялся за свою большую любовь и молил Розиту позволить мне остаться с ней.

Она сказала:

— Хорошо.

— Каким же образом? — спросил я.

— Есть одно средство, — сказала она.

— Какое?..

С секунду она колебалась, потом взглянула на меня и сказала:

— Сделайся «великаном»...

Великаном! И так, я учился в коллеже, переводил Вергилия и читал Платона для того, чтобы стать «великаном» и показывать себя за деньги: по три су с штатской публики и по два су с

господ военных и нянек!

Однако что же другое можно было придумать? Ведь таким образом я оставался с нею и, вместо того чтобы быть бременем, начинал добывать деньги для каравана, платить свой долг; становился больше, чем любовником, — почти мужем.

И что же требовалось для всего этого? Я должен был одеться генералом, надеть на голову треуголку и приделать двойные каблуки к сапогам.

В следующее воскресенье на ярмарке в Ториньи меня представили публике как «самого высокого человека нашего столетия».

— И поверите ли? — сказал великан с прояснившимся лицом. — Мое решение не принесло мне особых страданий. Первые месяцы оказались менее мучительными, чем можно было ожидать, пожалуй даже веселыми. Я уже привык к этой жизни, а последние недели, проведенные мною в балагане, не только сломили мою гордость, но и закалили меня. К тому же, занимаясь нашим ремеслом, при котором непременно надо дурачить толпу, вы быстро проникаетесь презрением к этой толпе.

Страх быть узнанным исчез вместе с моими длинными волосами и светлой бородой, и самый пронзительный из моих учеников не смог бы узнать своего бывшего учителя в этом ярмарочном великане. Я спокойно жил под маской румян и белил, весь уйдя в свою неистовую любовь.

Перед публикой я рисовался; мне случалось превращать сцену нашего передвижного театра в кафедру иностранных языков, и с высоты ее я побивал жалких воспитателей и тупых учителей. Простой народ аплодировал мне, и на каждой ярмарочной площади у меня бывал свой месяц популярности.

В нашем мирке я считался гением; я давал советы, составлял обращения к публике, сочинял пьесы для спектаклей на открытом воздухе, пародии для шутов, и женщины из балаганов, да и не только из балаганов, украдкой поглядывали на меня, завидуя счастью Розиты!

Она гордилась мной и осыпала меня ласками.

— Какой ты у меня ученый! — говорила она, стараясь дотянуться до моего лица.

А я нагибался, чтобы стать как можно меньше ростом, и целовал ее.

В этот период она забеременела. Это было большой радостью в нашем балагане. Мы были почти богаты, будущее рисовалось нам в розовом свете.

— Хорошо бы у них родился урод, — говорили соседние циркачи, — тогда их дело в шляпе. Пусть Розита съездит в Бокер; там в этом году показывают много разных монстров. Вот бы ей запомнить ребенка — рыбу.

Слава богу, она не запомнила ни этого монстра, ни других и произвела на свет девочку, прелестную, как Амур, и стройную, как цифра 1. В церкви ее по всем правилам окрестили Розитой, а в балагане назвали Виолеттой — то есть фиалкой, цветком, растущим в тени. О ее судьбе я вам расскажу после.

Великан провел рукой по лбу, словно отгоняя какое-то тяжелое воспоминание, и продолжал:

— Так мы объездили весь восток Франции, побывали в Бельгии и Голландии, где я имел большой успех. Розита даже оставила свои гири. Теперь она стояла в городском платье у входа в балаган и «лаяла», то есть зазывала, заманивала публику.

Она стояла там и смело повторяла затейливые фразы, которые я выкраивал для нее по вечерам в фургоне, пока она подсчитывала дневную выручку или чинила тряпье спящих уродов.

Наш караван разросся и дела улучшились. К нашей труппе прибавился «человек — скелет».

— Неужели тот, который десять лет назад выступал в Париже на Аустерлицкой набережной? — прервал я великана.

— Тот самый. Так вы знали это страшилище? Когда из-за занавеса раздавалось его жуткое хрипение, а потом появлялся он сам, даже мужчины бледнели и пятились назад, в ужасе хватаясь за голову, — я сам видел это.

Это был черный призрак. Его желтые кости, совершенно не прикрытые мясом, стучали при каждом его движении. Все нутро переворачивалось, когда своим глухим и хриплым голосом он произносил:

— Я не сплю уже десять лет!

И все же он спал.

Однажды в Голландии мы ехали втроем по реке на палубе судна: Розита, он и я. Я все время сидел, чтобы казаться меньше ростом, человек — скелет свернулся под сложенными парусами У моих ног.

Пассажиры знали о его присутствии на судне, и все вокруг нас говорили о нем: шел спор о его постоянном бдении, держали пари — кто за, кто против.

И вдруг, в самый разгар спора, мерный и монотонный звук раздался из-под парусов, знакомый звук, заставивший всех насторожить уши.

— Это храпит скелет! — крикнули зрители.

Да, это был он. Кто-кто, а мы хорошо знали это. Но тут Розита выхватила из кармана перочинный ножик, всадила острие в одну из костей уroda, и тот приподнялся на своем ложе. Инстинктивно почувствовав, в чем дело, бессмысленно глядя в одну точку, он

выкрикнул испуганным насмешникам свое зловещее заклинание и, в изнеможении упав на прежнее место, повторил еще раз: «Я не сплю уже десять лет!»

Секрет этого бдения заключался в его страшной выносливости и в чудовищной энергии. В этом трупe жила душа; он был человеком, этот призрак. Он умел лгать так, что истощал терпение и сбивал с толку пытливость. Он смущал скептиков, ставил в тупик ученых, обманывал полицию и дурачил науку. Только мы да его любовница видели его спящим.

— Его любовница? — переспросил я великана, ужаснувшись.

— Да, любовница, у которой были от него дети и которую он бил по вечерам, когда она прятала от него водку, — ведь только водка служила маслом для этой лампы и поддерживала эту вечную агонию. Если бы не его пороки, он, может быть, был бы жив до сих пор; он умер оттого, что слишком много пил и слишком много любил.

Впрочем, он все равно свалился бы, рано или поздно, так как секрет его необычайной худобы заключался в ужасной опухоли под левой лодыжкой, которая пожирала его тело и пила его кровь.

Однако настал день, когда уже нечего было пожирать, жизнь целиком ушла через черное отверстие раны, и он упал, как падает сухое дерево.

Последний вздох он испустил в 185... году в больнице Нек-кера, куда мы его перевезли. Теперь он спит!

Мы очень горевали о нем, потому что почти весь доход доставлял нам он один.

На следующий день после похорон сам Барнум, знаменитый Барнум[5], которого вы знаете только по книгам, но с которым мы, циркачи, бывало, пили вместе, предложил мне дикарей: вы видели их когда-то в цирке. На сей раз это были настоящие дикари. Он оторвал их от родной земли и притащил сюда, чтобы выставить напоказ под грустным небом Европы.

Их было восемь, и сопровождал их старый негр, единственный, кого они понимали благодаря обрывкам какого-то странного жаргона, которому он научился на одном корабле, где, кстати сказать, он убил капитана и искалечил его помощника. Жестокий и холодный, он умел управлять этой кучкой изгнанников с помощью палки.

Как безобразны и как печальны были эти сыны далеких лесов! Чтобы заменить им жгучее солнце родины, приходилось постоянно поддерживать возле них жаркий огонь, у которого они отогревали исхудавшие ноги и руки.

Приходилось также, чтобы прекратить их дикие вопли, вливать огонь и в их грудь — давать им джин. Негр был их рупором и любил подстрекать их к этому мрачному разгулу. Если я отказывал в чем-либо, он молчаливо и покорно возвращался к своим рабам, но наступала ночь, и в балагане раздавались ужасные крики, страшные завывания: это караибы, наученные своим черным толмачом, требовали табаку или джину, и мне приходилось уступать — иначе они разнесли бы в клочья и тюремщиков и тюрьму.

И все-таки вместе с караибами и со мной, — я все еще выступал в роли великана, — труппа понемногу сводила концы с концами, и все было бы хорошо, если бы мы могли избавиться от этого ужасного негра.

Однажды утром я предложил ему уйти от нас. В этот же вечер загорелся наш балаган, и среди диких завываний караибов, которых пришлось выгонять из огня, как медведей, и уводить с помощью солдат, мы увидели, как пламя пожирает наш бедный караван вместе со всем его содержимым. Костюмы, занавес, декорации — все исчезло, все, вплоть до бумажника, где было спрятано несколько банковых билетов. Я полез искать его в самое пекло, но напрасно: прыгая в огонь, я вдруг увидел, как раздвинулись в улыбке черные губы негра и расширились зрачки его глаз. Ручаюсь головой, что преступление совершил он. Там, на берегу большой реки, на краю чьей-нибудь могилы, он поклялся в ненависти, вечной ненависти к белым.

Он не увидел больше своей родины, не вернулся туда со скальпами замученных и убитых им людей: впоследствии один из дикарей, внезапно почувствовавш::“: тоску по крови, выпустил ему кишки.

Что до нас, то мы вдруг оказались без всего — без денег, даже без театральных костюмов, а без них невозможно было продолжать заниматься нашим ремеслом. Мы отпустили негра и дикарей, потому что не могли теперь держать их у себя, кормить, не могли платить им, и продали слепую лошадь. Бедная! Когда мы расставались с ней, она, словно чувствуя, что ее бросают навсегда, жалобно заржала и обратила на нас свои мертвые глаза, в которых, казалось, стояли слезы.

А потом началась нелепая жизнь, полная лишений, жизнь, которую я, тем не менее, охотно пережил бы еще раз.

О, счастливые времена, когда только я, один я, мог ее утешить и только мои шесть футов и пять дюймов могли ее поддержать!

Когда мы остались одни в вечер катастрофы, то была тяжелая минута, но как только дверь чердака, куда мы перенесли остатки своего тряпья, закрылась за нами, она бросилась мне на шею и сказала:

— Ну, великан! Что нам делать?

От этих слов, произнесенных грустным голосом, мое сердце затрепетало от радости, и воспоминание о времени, последовавшем за нашим разорением, я не променял бы на лучшие дни богачей.

На следующий день я выкрасил Розиту.



— Я сделал из нее жительницу южных побережий, украденную пиратами, спасенную англичанами и татуированную всеми, кому только было угодно.

Что до меня, то я отбросил в сторону мертвые языки и сделался просто патагонцем, ее вожаком, единственным, кто умел объясняться с ней и заставлять ее повиноваться.

Славный Поваренок, наш старый, верный помощник, — вот кто выкрикивал теперь у входа все эти любопытные вещи!

Благодаря его рекламе и какому-то яванскому наречию, изобретенному нами для собственного удовольствия, мы с Розитой все время потешались над публикой.

Порой мы не могли удержаться от смеха. Тогда она поворачивалась спиной к зрителям, вопила, кричала, рычала и, наконец, заглушала смех, уткнувшись лицом в брюшко сырого цыпленка, которого держала в руках. Я наклонялся к ней, как бы для того, чтобы ее успокоить, и мы оба надрывались от хохота.

Правда, иногда мне было не до смеха: каждый раз, обновляя на ней краску, я выпускал вздохи, которые были длиннее, чем я сам; ведь я красил Розиту, как красят двери — банка с краской в одной руке, кисть в другой. На это любимое тело я надевал плащ из чернил и растительного масла и вдевал кольца в ее розовый носик.

Неужели это она бродила там, на сцене, как дикий зверь, жуя табак, выплевывая огонь?

Поцелуев больше не было — между нами легла пропасть.

Приходилось дожидаться вечера. Да и вечером от нее не оставалось ничего европейского, кроме того кусочка тела, который ей удавалось спрятать под одеждой; она была белой женщиной лишь на одну треть, а на две трети — дикаркой.

Ах, сударь, как это больно! Не пожелаю вам иметь возлюбленную, которую приходится красить и к которой нельзя потом прикоснуться, словно к свежавыкрашенной стене!

Нам пришлось расстаться с малюткой, иначе ее тоже пришлось бы татуировать, и мы предпочли отослать ее к старой сестре Поваренка, жившей в деревне.

Как-то раз нам с Розитой захотелось побродить вечером по дорогам, подышать ароматом полей и лесов. У меня явилось желание снова увидеть Розиту свежей и кокетливой, если только это было возможно для нее в выцветшем ситцевом платье, единственном, которое у нее осталось.

В десяти минутах ходьбы от нашей палатки протекала речка. Розита вышла, закутавшись в плащ, закрыв голову капюшоном, и окунула свое размалеванное тело в светлые волны.

Однако прачки, при свете луны полоскавшие белье немного ниже по течению, увидели ее и обо всем догадались по цвету воды, которая принесла к ним смытую с нее сажу. Они начали кричать, что она пачкает их белье, мутит воду, и погнались за ней, забрасывая ее грязью, осыпая бранью.

К ним присоединились и мужчины.

Я хотел было броситься в толпу, схватить кого-нибудь из оскорблявших ее зевак и переломить его о свое колено. Но мысль о жандармах, о тюрьме испугала меня; подумав о том, что меня могут разлучить с ней, я задрожал и в темноте увлек ее прочь.

Один бог знает, что бы мы стали делать в таком виде: она — полуголая, я — в костюме генерала, без треуголки! Нам нельзя было вернуться в палатку, так как наши преследователи могли погнаться за нами и убить. Поваренку, оставшемуся там, едва удалось удрать от них. В этот день он навсегда распрощался с балаганом и спустя несколько дней сообщил нам, что находится там же, где Виолетта, и будет жить на свои сбережения и сбережения своей сестры.

Случай, ангел — хранитель бедняков, привел на нашу дорогу ребенка из семьи циркачей, saltados — акробата. Бедный мальчик только что похоронил в нескольких лье отсюда свою мать и вместе с сестрой, восьмилетней сироткой, возвращался обратно в труппу, в соседний городок.

Мы окликнули его.

Увидев нас, девочка испуганно закричала, но мы подошли ближе и быстро подружились. В двух словах я рассказал нашу историю, мальчик — акробат рассказал мне свою. Он тоже был беден, очень беден, но у него все-таки оставался еще старый клоунский колпак, который он отдал мне, а Розита накинула на плечи, застывшие от ночного холода, его коврик для упражнений. Я посадил уставшую девочку к себе на спину и с этим грузом возглавил шествие.

Я походил на одного из тех библейских великанов, которых изгонял перст пророка и которые шагали, унося с собой и семью и родину, по какой-то далекой и проклятой земле.

Мы без помехи добрались до харчевни, где застали только что прибывшую труппу, к которой и должен был присоединиться наш спутник.

Директор предложил нам работать у нею, но при условии, »то я откажусь от роли великана и придумаю какой-нибудь но- ьш «трюк». У него не было театра, и он не мог, да и не хотел открывать его.

Жребий мой был брошен уже давно.

Я даже не стал раздумывать: дал отставку великану и сделался уличным акробатом.

Уличные акробаты — это лица, у которых нет ни дощатого балагана, ни полотняной палатки, ничего, кроме разрешения префекта или мэра выворачивать себе члены и ломать кости, как и где им заблагорассудится, — на улицах, площадях, на перекрестках. Кассой им служит разбитое блюдце или старая оловянная тарелка.

— Милостивые государи и государыни, вот наша маленькая касса! Раскошеливайтесь! Не стесняйтесь! Если наша работа кажется вам честной и достойной внимания, просим не забывать нас. Мы принимаем все — от одного сантима до тысячи франков. Эй, музыка!

И вот представление начинается. Пока артисты исполняют номера, чтобы заработать несколько су — лишь несколько су! — клоун или девочка обходят публику и собирают свое жалкое вознаграждение.

Все те несчастные, которые ходят под окнами во дворах и жонглируют, поют, прыгают, которые поднимают с земли завернутый в бумажку медяк и смиренно просят у дверей кафе, чтобы им позволили вывернуть себе конечности или вывихнуть шею. словом, все те, которые вымалывают под открытым небом медную монету, — это уличные акробаты.

Их родина — улица, этот приют отставных циркачей: цыганок с обветренной кожей и худыми ногами, которые все еще танцуют и трясут плечами, ударяя высохшими пальцами в бубен; разбившихся акробатов, выдохшихся паяцев, неудавшихся уродов.

Весь капитал этих бедняков состоит в их гибкости и в их мужестве. Они терпят страшную нужду, глотают шпаги, пьют свинец, жуют цинк, изображают лягушку, змею, шест, вывихивают себе члены и честно поддерживают свою семью — поддерживают ее своим горбом.

Вот в эту-то невеселую армию богемы я и вступил.

С высоты я упал прямо на улицу и, чтобы жить, испробовал все амплуа.

Начал я с того, что держал шест.

На палку, которую держит, крепко упершись ногами в землю, человек атлетического сложения, взбирается другой человек. Добравшись до верху, он делает там разные сложные гимнастические упражнения, затем ложится ничком на конец палки и, словно червяк, насаженный на иголку, беснуется в пустоте, шевелит руками и ногами, плавает в пространстве.

Уличный акробат — это совсем не то, что акробат в цирке, стоящий под спокойным светом люстры. Здесь он следит за каждым движением человека, которого держит на конце палки, стоя под открытым небом, под слепящим солнцем, не защищенный от ветра. Если луч солнца неожиданно блеснет перед зрачками атлета, если под ногу ему подвернется камешек или чуть заметная неровность почвы... Да что там! Достаточно крошечной пылинки или дождевой капли, и равновесие нарушено, шест покачнулся, упал, и человек погиб.

О, когда в первый раз я почувствовал на кончике своего шеста человеческое существо — существо, удивленное тем, что на этот раз оно оказалось так высоко, я обратил к нему не только глаза, но и сердце.

Слава богу, я достаточно крепок, и шест отклонился у меня только один раз, на какую-нибудь четверть линии.

Как легко избавиться от человека, которого ненавидишь, когда держишь его жизнь вот так, на своей груди, рядом с сердцем...

Подчас этот человек — негодяй, отнявший у вас ваше счастье и навсегда нарушивший ваш покой. Он заслужил смерть. Стоит вам искусственно закашляться, сделать одно неверное движение, заранее ослабить ляжку... и все кончено, правосудие свершилось. Однажды я чуть было не свершил его сам.

Услышав это страшное признание, я невольно вздрогнул.

— о, то была лишь мимолетная мысль, быстрая, как вспышка молнии. Все же этого достаточно, и на страшном суде бог потребует у меня отчета за этот миг. Однако я никого не убил, и тот, кто должен был умереть, все еще жив. Вы ведь догадываетесь, кто это? — спросил великан, глядя на меня.

— Шут, который сегодня утром...

— А кто же еще? — ответил великан с гневом. И продолжал:

— После шеста я начал работать с гирями.

Каждый человек вполне может, поупражнявшись и хорошенько изучив приемы, поднять гирю в сорок килограммов, и нет такого циркача, который при случае не был бы немного атлетом. В нашем ремесле надо все уметь понемногу.

Мне это было совсем нетрудно, и если порой я испытывал боль, то не от синяков, которые оставляла гиря, падая обратно мне на плечи, а от стыда, душившего меня при воспоминании о прошлом.

Однажды я увидел в публике женщину, походившую на мою мать. Поднятая гиря выскользнула у меня из рук и, описав крУг, размозжила голову ребенка, которого держала на руках другая женщина.

Бедняжка, она даже не вскрикнула. Она упала, безмолвная и бледная как полотно.

Я хотел покончить с собой. Какое там! Будь у меня мужество, я уже давно сделал бы это, но нет, я был жалким трусом.

Быть может, также имя Виолетты, произнесенное Розитой, Нашей маленькой дочурки Виолетты, которая все еще жила у сестры Поваренка, оказалось целебным средством и

утешением. Перед трупом этого чужого ребенка я вспомнил, что и у меня есть дочь.

Мне невозможно было оставаться дольше в тех краях, да и труппа не слишком стремилась удержать меня. Это ужасное происшествие тяготело над нами. Мы уехали.

Должен сказать, что Розита выказала себя нежной, любящей, преданной. Она нашла для моего утешения слова, полные ласки, и — увы! — именно с этим тяжелым периодом связаны у меня самые трогательные, самые дорогие воспоминания.

Я забыл несчастье, виновником которого был только случай. Случай? Но ведь если бы я не покинул свою мать, если бы не боялся встречи с ней, моя рука не дрогнула бы и гиря не убила бы ребенка...

Как бы то ни было, огонь страсти растопил упреки совести, и теперь я храбро, без особого стыда, соглашался на гадкие и жалкие авантюры, которые встречались на моем пути.

Я глотал камни, огонь; пил растопленный свинец.

Я входил в горящую печь с двумя сырыми цыплятами и выходил из нее с жареными.

Я клал на язык раскаленное железо и зажигал пунш в ладони.

— Вам был известен какой-нибудь секрет?

— И да и нет. Каждый может без подготовки опустить руку в раскаленный металл; иногда приходится прибегать к помощи квасцов. Все это обходится недорого, зато и прибыли не дает: зрителям нужны сожженные языки и заживо горящие люди. Но пока еще никто не отважился на это.

Я начал глотать шпаги.

Моим учителем был сам Жан де Вир, фанатик своего дела, дон Жуан на пиршествах стали. Он занимался этим искусством *domi et foris*[6], на улице, в кафе, за столом; он засовывал в нос гвозди, и все видели, как потом они выходили у него из головы; он втыкал иголки в череп.

По праздникам он кутил вовсю: глотал длинный железный брус, украшенный толстыми шишками, узловатыми, как колени подагрика; он водил этот брус взад и вперед, смаковал его, словно это был сироп, потом выплевывал, и он с грохотом падал на мостовую.

— Какой черствый хлеб! — восклицал он при этом.

Умер он у нас на руках в первый день нового года, слишком глубоко засунув вилку, которой он любил играть и которую унес с собой на тот свет.

Умирая, он завещал мне свое хозяйство, все эти клинки, которые он отточил о стенки своего пищевода и которые побывали в темном подzemелье его желудка.

У став от работы под открытым небом, я продал все это, купил несколько феноменов и решил устроить «пришел — ушел».

Эти два слова сами говорят за себя.

Так называют зрелища, сценой для которых служит старая грязная повозка, где пресмыкаются несколько отталкивающих монстров.

Открывается занавес, урод стоит или лежит, о нем рассказывают, или говорит он сам, зритель дает два су, приходит, уходит — вот откуда произошло это название.

Никаких расходов, кроме расхода на похлебку и подстилку для феноменов — двуногих или о пяти лапах.

Они смеются, плачут, блеют, рычат, растут или уменьшаются, сохнут или жиреют, — но все они должны дотянуть до конца, и накануне собственных похорон они все еще обязаны приветствовать публику, охорашиваться или изображать покойника, подавать руку, когти, показывать горб.

Чего только не увидишь в подобных балаганчиках! Какое смешение двуногих и четвероруких, ракообразных и млекопитающих! Какое множество варварских подделок и заимствований! Это ад, вымощенный чудовищными намерениями и изуродованными телами — зловещими сиротами, которых человек, созданный по образу и подобию божию, отказывается признать своими детьми!

— Оставим всех этих уродов. Я не буду больше рассказывать вам о них. Они могут рассердиться и сказать, что я клевету, если мне случится забыть или добавить что-либо, — эта порода легко приходит в раздражение, порода тех, кому природа чего-то недодала или дала слишком много!

Часто бывает, что феномен демонстрируется уже неживым. Это набитое чучело или заспиртованная кукла: чучело — почти всегда животное, заспиртованная кукла — человек.

Однако солома быстро вылезала из животов наших феноменов, и мы едва зарабатывали на новую.

К счастью, в скором времени мы нашли себе другое занятие.

Один человек, более удачливый, чем мы, присоединил наших мертвых уродов к своим живым, а мне за мои шесть футов пять дюймов предложил особое вознаграждение. Розите было поручено зазывать публику.

Я снова превратился в великана и начал выступать вместе с мужчиной без рук, по прозвищу «Храбрый Пешеход», и с Женщиной без ног, по прозвищу «Таинственный Зад».

Храбрый Пешеход... Быть может, вам приходилось видеть его? Это тот молодчик, который так ловко орудует ногами: про дельвает разные фокусы с ружьем, большим пальцем

подносит понюшку табаку к носу, а на том пальце ноги, которым держит перо, даже натер себе мозоли.

Таинственный Зад? Вы, наверное, встречали и ее, когда в запряженной ослом тележке она медленно тащилась куда-нибудь на окраину города; ведь появляться в других местах ей было запрещено с тех пор, как на одной из площадей Парижа беременная жена какого-то важного чиновника упала в обморок, увидев, как шевелится ее обрубок, а ребенок появился затем на свет с одной половиной тела.

Она покорно проходит жизненный путь на своем сидении — волосяном, как думают одни, дубовом, как думают другие. Сказать правду, я и сам хорошенько не знаю, что это было — ткань или дерево, туфля или деревянный башмак. Да и не все ли равно, раз она исполняла на ней, или на нем — не знаю, право, как и сказать, — страстные, упоительные танцы?

Я ясно вижу, как этот странный, еще никем не разгаданный феномен сидит на табурете, раскачиваясь, словно туловище г дведя, и вдруг пускается в пляс, вертится, кружится и оста- гавливается лишь тогда, когда пораженная публика кричит: «Хватит, хватит!»

Затем, на десерт, она предлагает вам подойти и послушать ее живот, где, по ее словам, что-то тикает, как маятник башенных часов.

Что это? Уж не проглотила ли она карманные часы? Или, может быть, спрятала стенные?

В то время она жила в дружбе с Пешеходом и с гордостью держалась за его икры. Вдобавок ко всему она была кокетлива, требовательна, настойчива, настоящая бой — баба. Ей бы следовало носить штаны, если бы можно было представить себе в штанах женщину без ног.

У нее было когда-то двое детей, и она с гордостью говорила о них зрителям: «У меня де» здоровых сына. Они сложены, как вы и как я сама».

Таковы две стороны угла, вершиной которого служил я, люди, с которыми я вынужден был жить и которых называл нежным именем брата и сестры.

Эти два существа относились ко мне с откровенным презрением и очень любили меня мучить.

Храбрый Пешеход наступал мне на сапоги, царапал руки, Таинственный Зад кусала меня за ноги; мне нелегко было избавиться от их объятий, и эти изуродованные Вараввы[7] делали еще более мучительной мою Голгофу.

Розита снова взялась за свое ремесло зазывальщицы и выкрикивала рекламу у входа.

Труппа имела успех, такой успех, что к первому фургону прибавился второй, мы заказали большую афишу «Ж ивой музей», и нам пришлось заняться приисканием шута.

Глубокий вздох вырвался из груди великана, но он взял себя в руки и продолжал:

— Мы нашли этого шута, — вы знаете его, это тот самый, которого вы видели утром в балагане, которого увидите там и завтра и всегда, до тех пор, пока в кассе останется хоть одно су, а в труппе будет Розита.

О, едва он вошел — мы как раз сидели за ужином, — уже по одному тому, как он сел, как поднял стакан, я сразу понял, что хозяином здесь будет он и что за ним следом идет несчастье.

Когда же он поднялся на подмостки и выступил перед публикой вместе с Розитой, у меня — великана! — подкосились ноги.

Я всегда боялся за нее — вернее, за себя, — я боялся этой жизни подмостков, где она является героиней танцевальных номеров и сладострастных пантомим, где хозяин и шуты имеют право целовать ей плечи, обнимать за талию, где ее красота выставлена на продажу и где торг идет в ее присутствии. Я не раз видел поверх занавеса, как всякие распутные бездельники — маменькины сынки с золотым моноклем и артисты с длинными черными кудрями — рыщут вокруг канатных плясуний и танцовщиц с кастаньетами, бросая им сначала букет, а затем кошелек. Я боялся и того и другого — и кошелька и цветов — особенно цветов, потому что Розита была женщиной, способной опьяниться любым ароматом.

Они имели вместе неслыханный успех, и публика каждый вечер толпилась у входа в балаган, стремясь захватить начало и увидеть проделки Бетине, влюбленного в Изабеллу.

Бетине — имя шута. Он и сейчас носит это имя. Изабелла — псевдоним Розиты.

Я почти не слышал того, что говорилось на сцене, но порой до меня доносился звонкий поцелуй, обжигавший плечи возлюбленной, и я бледнел, как это было сегодня утром.

Поцелуй актерский, это правда, и все же он болезненно отзывался в моем сердце.

Пешеход и Зад заметили мою ревность и начали подстрекать ее с помощью недомолвок и насмешек. Порой меня охватывало желание встать и подойти поближе, но мое положение не позволяло мне этого: рост приковывал меня к месту.

К тому же страх мой был так велик, что я старался ничем его не выдавать и стал выказывать еще большую нежность и преданность Розите. Я просто угнетал ее теперь своей любовью. Жестокая, непоправимая ошибка! Нельзя показывать женщине, что вы не можете без нее обойтись! Признаться в этом — значит потерять ее уважение, отречься от своих прав, попасть под башмак, и, если вы имеете дело не с ангелом, — а они, говорят, редки, — довольно случая, чтобы оказаться обманутым. Приходит день, и этот случай предстает перед вами в образе сильного и хитрого мужчины.

Да, это так, наш шут был хитер и распутен, как самый развращенный парижанин.

Его жизнь была полна забавных приключений, в которых Пактол[8] и сточная канава постоянно скрещивались друг с другом! Это был шарлатан в полном смысле слова; он не

задумался бы сделать негра из Леверье[9] и великана из Лимейрака[10]!

Свою карьеру он начал как «слепец», распевая с наемным братом в кафе и во дворах, нащупывая жизнь концом своей палки.

Набрав несколько су с помощью слепоты, он купил «Ротомаго» и начал продавать «счастье».

«Ротомаго», или «Тома», мы называем стеклянную банку, в которой подвешена деревянная фигурка, поднимающаяся или опускающаяся в зависимости от движения пальца; этого-то плавающего в банке уродца люди вопрошают о своей судьбе, и за одно су он вытаскивает всем желающим предсказания о их прошлом, настоящем и будущем.

«Сейчас господин Ро... Ро... Ро... томаго скажет нам, кто вы такой».

Это и называется «погадать на счастье».

Иногда этим способом можно заработать даже больше, чем гаданьем на картах.

Бетине странствовал до тех пор, пока не проел всего, что у него было, и, оставшись ни с чем, снова сделался «слепцом».

Наконец счастье улыбнулось ему, и он опять стал зрячим. Ему удалось войти в компанию с директором одной труппы. Зная, чего стоит хороший шут, и поняв, какую выгоду можно извлечь из остроумия и находчивости Бетине, тот сделал его участником в барышах.

Он давал ему разные щекотливые поручения, и паяц всегда успешно справлялся с ними.

В те времена между директорами театров и бродячими актерами шла ожесточенная борьба. Несчастливым актерам приходилось платить колоссальные налоги. Один только Ларош переплатил больше тридцати тысяч франков театрального и благотворительного сбора.

Бетине взялся провести врага.

Однажды — это было во время ярмарки в Сен — Кантене — он отправляется вперед, подъезжает в полдень к городским воротам, останавливает там свои фургоны, снимает дорожную блузу и надевает другую, похуже, превращает в бахрому низ брюк (подобно тому, как некоторые полки намеренно треплют свое знамя), мнет фуражку и приводит в полную негодность башмаки; затем он спрашивает, где находится театр.

Явившись туда, он поднимается по артистической лестнице и просит доложить о себе директору. Тот отказывается его принять. Он настаивает. Его вводят в кабинет.

Видя этот мешок лохмотьев, директор отступает к окну и открывает его.

Бетине неловко кланяется и рассказывает суть дела:

— У меня имеется небольшой кабинет белой магии, очень опрятный.

Директор окидывает его взглядом и улыбается.

— Если бы господин директор изволил разрешить мне дать несколько представлений, в его театре...

Это уже слишком. Директор поднимается и берет за шляпу.

— В таком случае, — говорит Бетине, — я вынужден буду поставить свой балаганчик прямо на площади и давать представления там. Но вот насчет налогов... Я так беден, что...

— Можете вы уплатить мне двадцать франков? — спрашивает директор, чистя щеточкой свою шляпу.

— Двадцать франков — это, конечно, тяжело по нынешним временам, но если господину директору угодно будет выдать мне расписочку, то я готов.

И Бетине вытаскивает из старого, плохо заштопанного чулка двадцать франков — четыре пятифранковые монеты.

Директор выдает расписку, и Бетине уходит.

Через два дня вышеупомянутый директор, спустясь с лестницы и выйдя на улицу, видит прямо перед собой, напротив своего театра, огромное сооружение, целый дощатый Капитолий, и узнает позавчерашнего нищего в маленьком озабоченном человечке, который, подобно Цезарю, отдает распоряжения четырем плотникам одновременно.

Директор подходит к нему, они беседуют: директор заявляет, что Бетине его обокрал, и немедленно подает на него в суд.

Начинается процесс.

Адвокат театра смешивает с грязью всех бродячих актеров и, в частности, Бетине.

Но вот выступает Бетине.

Переплетая чувствительные фразы с шуткой и иронию со слезами, он защищается: его дети плачут, жена рождает! Увлекаемый порывом, он высоко поднимает изодранное знамя бродячих актеров.

— На мне надета блуза, — кричит он, — но она чистая! На мне грубые башмаки, но каблуки на них крепкие, а я знаю сапоги... (тут его взгляд забирается под мантию адвоката: у бедного малого каблуки стоптаны до самых голенищ, и он не знает, куда спрятать ноги). Я во всем себе отказываю, чтобы заплатить что полагается, зато уж никому не должен ни гроша. Спросите у Дубле, почтенного плотника с улицы Нотр — Дам.

— Верно! — произносит Дубле из глубины зала.

Это жестокий удар. Звезда директора меркнет.

Бетине расширяет тему дискуссии.

— Этот господин сказал (и он показывает на бедного адвоката, красного, стыдливо прячущего ноги), что бродячие актеры пьянствуют и бьют своих жен... (Пауза.) Лучше пить вино, чем кровь, и бить свою жену в балагане, чем убивать ее в собственном особняке...

То был год убийства госпожи де Прален. Все взволновались. Из здания суда публика побежала прямо в балаган; все места были немедленно проданы, а в театре играли перед пустым залом.

— В другой раз, в 1849 году, Бетине приехал в Лимож. Там нет постоянного театра, имеется лишь его директор — распорядитель. Воспользовавшись своей привилегией, этот распорядитель, хоть он и не давал спектаклей сам, потребовал от бродячих актеров, чтобы те уплатили налог. Они отказались, и он подал на них в суд.

Представителем балагана оказался Бетине.

Директор был человек неглупый и энергичный.

Он сделал попытку проложить дорогу к сердцу судьи своей добропорядочной жизнью и мужественно выполняемым долгом.

— Я имею право на внимание суда, — сказал он. — За меня говорит мое прошлое. Сейчас я тенор на первых ролях и одновременно директор театра, но когда это было необходимо, я жил трудом своих рук и возил на тачке землю в национальных мастерских.

Бетине встает:

— Это клевета на национальные мастерские: там не трудился никто... (Судьи слушают благожелательно.) И если вы говорите о себе, то я буду говорить за всех нас! В то время как вы губили родину на Марсовом поле, мы служили ей на ярмарочной площади! Бродячие актеры собирали пожертвования в пользу бедных, и один из них передал от имени всех нас семьсот семьдесят семь франков (я называю точную сумму) в руки Ламенне[11] и Беранже, — уж не собираетесь ли вы опорочить также и этих людей?

К несчастью, собственное красноречие опьянило его, и, несмотря на то, что он потряс все души, решение суда все-таки обязало его вручить директору либо шестьдесят франков, либо пятую часть всех сборов.

Пятую часть? Мщение найдено. Он сам объявляет в городе, что вечером касса не будет принимать денег. Каждый заплатит натурой — хлебными корками, пирожными, старыми туфлями, шерстяными жилетами. Пусть директор берет свою пятую часть!

Один из зрителей явился с клистирной кишкой.

— Пройдите в первый ряд! — сказали ему.

Надо было слышать, как о всех этих чудачествах рассказывал сам Бетине. Философ, насмешник и скептик, он радостно встречал каждую новую удачу, а над неудачей смеялся с такой язвительной веселостью, которая поднимала дух балагана в те дни, когда дела были плохи.

Розита не отставала от других и не забывала приветствовать его остроты и взглядом и словом.

Я завидовал успеху шута: я видел, с какой жадностью слушает она его, как боится упустить хоть одно его слово, одно движение, с каким нетерпением ожидает развязки, совершенно забывая при этом о моем существовании.

Сердце мое сжималось, и когда надо было смеяться, мой смех звучал фальшиво. Боль сделала меня злым и несправедливым. Как-то раз я попытался разбить популярность шута и выбить почву у него из-под ног, прерывая ядовитыми замечаниями его рассказ, сделав вид, что мне скучно его слушать.

Пострадал я сам: общественное мнение обернулось против меня, и Бетине окончательно раздавил меня свойственной ему холодной и наглой иронией, выраженной на его смелом жаргоне, на красочном языке жителя предместий. Он переманил насмешников на свою сторону, а Розита и не подумала встать на мою защиту!

В тот день я понял по ее поведению, что все погибло. Моя ученость была «побита», я оказался слабее Бетине, и вся моя латынь только способствовала моему поражению. Пропасть разверзлась, я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.

Все написанные мною пародии, все выступления, подготовленные заранее, не стоили импровизаций Бетине, который отдавался на волю случая и острил так удачно, что даже актеры труппы, эти пресыщенные люди, любили слушать его и шли на его номера, как журналисты идут на премьеры.

— Что-то он еще придумает сегодня? — говорила Розита окружающим, взбираясь на подмости балагана, даже не взглянув на меня, не пожав мне руки. Храбрый Пешеход гт? кодировал ногами, а Таинственный Зад приподымалась на том, что служило ей сиденьем, чтобы лучше видеть.

Только я продолжал молча сидеть на месте, не смея взглянуть в ту сторону, потому что некоторые жесты заставляли меня бледнеть, я не хотел, чтобы люди видели мою боль.

О, какие минуты переживал я тогда! Сейчас я почти примирился, но в первые дни — что это была за пытка! Пытка тем более мучительная, что я терзался неуверенностью, что у меня бывали моменты горячки и тревог, перемежавшиеся с минутами облегчения и с возвратами к прошлому, свойственными человеку, когда он не знает и не хочет знать. Такие тревоги в тысячу раз печальнее самой действительности! Мозг раскалывается в поисках оправдания, а сердце — его не обманешь! — то сжимается, то снова раскрывается для надежды, то

опять терзается болью. Если бы это продлилось еще несколько недель, я бы умер.

Но вот однажды я узнал все: я стал свидетелем ужасной сцены, которую хозяйка устроила Розите, обвиняя ее в том, что она отбила у нее Бетине; между женщинами завязалась драка, и хозяйка оказалась сильнее.

Я встал со своего кресла — кресла великана — и рознял их.

Розита взглянула на меня с изумлением, почти со стыдом: да, ей было стыдно за меня! Та, другая, расхохоталась мне в лицо. Пешеход и Зад вторили ей. К счастью, вошел хозяин, и все затихли.

# IV

По мере того как великан говорил, взгляд его становился все мрачнее, и большая рука, которую он иногда лихорадочным движением поднимал кверху, отбрасывала на стене причудливые тени, отчетливо выделявшиеся при свете догорающей свечи.

Однако, дойдя до этого места своего рассказа, он вдруг замолчал и словно замер.

Сгорбившись, согнувшись под тяжестью горя, он напоминал статую застывшего в задумчивости индийского божества, над которым навис неумолимый рок.

Грустно было смотреть на этого человека — атлета и великана, согбенного рукою женщины; голова его, словно вершина высокого дерева, прибитая дождем, поникла от ветра горьких воспоминаний.

Я не прервал его молчания. Через несколько минут он выпрямился, покорный, суровый, и продолжал горестную повесть своей печальной любви.

— Все было кончено: та, ради которой я простился с жизнью честного человека, кому отдал свое тело — тело великана и тело мужчины, — кому продал душу, она, эта ярмарочная девка, обманывала меня с пьяным шутком, распутным выходцем из грязных предместий.

Падение было ужасно, будто я упал со всей высоты своего роста — моего роста! Удар оглушил меня. Прошло уже немало времени, но рана, — и он с грустной улыбкой приложил руку к сердцу, — рана еще не затянулась.

Я бы меньше страдал, если бы ее выбор оказался не таким низкопробным: моя боль еще усиливалась от того, что она так унизила себя. Я обманулся в ней. Ее, как и всех, ей подобных, влекло к сточной канаве, и когда я — жалкий безумец! — приписывал ей душу, способную понять мою, я забывал о впечатлениях ее детства и юности, о близости притонов предместья, о ее общении с уличными негодьями.

Вы, наверное, хотите знать, чем кончилась эта сцена и каково было объяснение?

Она нагло отрицала все, а я, презренный и слабый человек, сделал вид, будто поверил ее клятвам, и на уничтожающие шутки окружающих ответил улыбкой. О, эта улыбка! Она дорого стоила мне. Мне пришлось напрячь все силы, чтобы выдавить ее на своем лице.

Вы не поверите, если я расскажу вам, что произошло дальше.

Покидая балаган, откуда нас выгнала измена Розиты, я сам предложил Бетине — да, да, шуту Бетине — отправиться вместе с нами.

Жалкий хвостун! Я хотел доказать этим, что не верю «кле- вете». А может быть, я немного побаивался, что без него Розита не согласится уйти со мной.

Отчасти тут говорил и мой эгоизм. Я испортил свою жизнь и непременно желал, чтобы ядро, к которому я сам приковал свою цепь, ушло вместе со мной.

Так или иначе, но все произошло именно так, как я сказал, и когда мы выходили из балагана, Бетине вел под руку Розиту.

Должно быть, я совсем обезумел — совсем обезумел, или поступил, как презренный трус?..

Так пусть же тот, кто никогда не безумствовал и не унижался ради женщины, первый бросит в меня камень!

С этими словами великан поднял голову; его горящий взгляд точно бросал вызов невидимому врагу.

— Не стану докучать вам рассказом о моих треволнениях. Из них состоит вся жизнь; вздохи не кормят, а горе сушит.

Надо было зарабатывать на хлеб.

По роковой случайности, в той деревушке, где жили Поваренок с сестрой, прошла эпидемия холеры и унесла обоих.

Необходимо было забрать Виолетту, и однажды утром малютка появилась в нашей жалкой харчевне.

Все говорили, что она похожа на меня; Бетине постоянно отпускал шуточки на сей счет, но он возненавидел ее за это сходство, и Розита не смела поцеловать ребенка в его присутствии.

Благодарение богу, девочка прожила недолго, но — увы! — ее смерть оказалась жестокой драмой.

Мы отправились искать работу на соседнюю ярмарку, но все амплуа были уже заняты, в частности мое.

Здесь пользовался успехом великан, который был на семь дюймов выше меня ростом, а это значило больше, чем любой Диплом, и совершенно затмевало звание бакалавра. Как-то Утром он спустился в деревянных башмаках со своих гор, и не успел его длинный остов вытянуться перед занавесом, как выручка поднялась.

Розита и Бетине могли бы получить ангажемент, но тогда нам пришлось бы расстаться, а этого не хотел никто из нас — ни Бетине, который был слишком ленив, ни Розита, хотевшая того же, чего хотел он, ни я, готовый на все, лишь бы не разлучаться с ними.

К счастью, на краю ярмарочной площади оказался зверинец, где совсем недавно был страшно изуродован укротитель.

Нам — Розите и мне — предложили заменить этого укротителя, при условии, что мы будем вместе входить в клетки.

Вас, видимо, удивляет, что нам ни с того ни с сего сделали подобное предложение и что мы решились принять его?

— Ну, вы — это еще понятно, но Розита...

— О, Розита ни минуты не колебалась. Можно было подумать, что ей, негоднице, даже приятно было подвергаться опасности со мной рядом, — ведь на следующий же день после моего постыдного открытия, убедившись в том, что я не поверил ни одному слову ее дерзкой лжи, она принялась с особенным удовольствием растравлять преступной грацией и дразнящими ласками жестокую рану, которую сама нанесла мне.

В иные минуты я мог бы поклясться, что она все еще меня любит!

Итак, мы приняли кровавое наследство укротителя и начали обучаться его ремеслу.

Как печальна участь диких зверей, попавших во Францию!

Задумчивые и вялые, они лежат, вытянувшись, на пыльном полу.

Их поймали в пустыне, где пески жгучи.

Они свободно бродили там под открытым небом, встречали утром восход солнца, днем охотились, а вечером возвращались, сытые, в свое логово, и их рычание терялось в необъятном просторе.

Здесь они сидят в трехметровой клетке, побежденные, порабощенные, покорные! Там они рычали — здесь зевают, там они рвали живое мясо и пили дымящуюся кровь — здесь их корм ограничен, да и этот жалкий корм они еще должны заработать.

Им невольно приходится нарушать свое презрительное молчание или тихий сон.

— Смирно, д'Артаньян! Умри! Эй, хищники, молчать!

Львы, тигры, пантеры, леопарды, волки, гиены! Белый медведь, этот выброшенный кораблекрушением северянин, который переплывал на льдине моря и ревел, вторя ветру, теперь, точно верблюд, вытягивает шею по направлению к водоему, мерно качает головой, словно безумный, и его монотонные жалобные крики раздаются из-за прутьев решетки. Слышите вы их?

Каким же образом, спросите вы, приступили мы к этому делу?

Неужели нам, новичкам в этом гареме с самыми смешанными запахами, предстояло проникнуть в тайну, узнать секреты? Впрочем, какие там секреты!

Ласки, обессиливающие зверей, запахи, служащие защитой, раскаленный добела прут Морока — все это выдумки, легенды!

— В чем же объяснение?

— В законном торжестве мужества над грубой силой, терпения— над яростью, человека — над зверем. Бывает, что узники возмущаются, скалят зубы, ощетиниваются. Поднимите палку и ударьте — ударьте сильно, наотмашь. Если они не согнут спину, переломайте им кости.

Большинство покоряется и поддается воспитанию, как собаки или дети: немного ласки, немного шлепков, побольше сахара — и дело в шляпе.

Если зверь с норовом и уже не молод, он требует больше времени и осторожности. Мы знали это.

В течение трех недель мы неустанно бродили перед клетками, останавливаясь перед каждой, разглядывая ее обитателя, выкрикивая его имя, стараясь приучить его к себе, а потом и внушить любовь. Если бы кто-нибудь предсказал мне это, когда я был учителем в седьмом классе! Правда, во время поездок нам уже приходилось видеть зверинцы, случалось просовывать руку в клетки гиен и львов. Пример сторожей, обращавшихся с хищными зверями, как псари обращаются с собаками, ободрял нас. Кстати, их «хищность» — это предрассудок. Я наблюдал из своего окна, как жены укротителей спокойно вязали чулок, сидя у себя в комнате, а львята подле них играли с добродушными медвежатами. Всего опаснее бывала пантера.

— Однако сердце сильно билось у меня в тот день, когда я впервые вошел в клетку, и вы понимаете меня.

Я решил, что сначала рискну сам и позволю войти Розите лишь в том случае, если благополучно выберусь оттуда.

Для первого опыта я выбрал льва, того самого, который наполовину сожрал своего хозяина. Такова уж моя натура — самому бросаться навстречу опасности: быть может, это своего рода трусость, желание покончить сразу — умереть или победить.

Итак, я вошел.

За полуоткрытой дверью стояла вооруженная вилами Розита; перед клеткой, с железной палкой в руках, ждал Бетине, для которого я зарабатывал хлеб.

Лев не шевельнулся; он только поднял на меня свои грустные глаза и снова задремал. При виде этого колосса, которого я должен был потревожить, меня охватил страх, и — кто знает, — если бы здесь не было Розиты, если бы Бетине не был ее любовником, пожалуй, я

вышел бы из клетки, чтобы никогда туда не возвращаться. Но при ней, при нем мне хотелось бы быть храбрым. Да ведь и ей предстояло войти в клетку вместе со Мной! Надо было покорить зверя.

Я шагнул вперед, схватил льва за оба уха и, приподняв его громадную голову, встряхнул ее. Он испустил глухое рычание и попробовал было вырваться из моих рук, но я держал крепко. Стоило ему сделать малейшее усилие, повернуть шею, и он распластал бы меня на прутьях решетки. Он не сделал этого усилия. Я отпустил его и стал ждать. Он уныло повернулся и улегся в позе сфинкса. Я заставил его подняться и сделать несколько шагов вокруг меня. Он повиновался.

Чтобы пожелать человеческой крови, ему, этому низверженному царю, нужны были солнце Африки и ветер пустыни.

Я посмотрел на него почти с жалостью и уже без всякого колебания знаком предложил Розите войти.

Она вошла и закрыла за собой дверь.

— Он сожрет нас обоих, Великан, — тихо сказала она, подавая мне руку, ту самую руку, которая — я видел это — только сегодня утром горячо ласкала в укромном углу голову Бетине.

Однако вместо того чтобы броситься на нас, лев обнюхал Розиту и потерся гривой об ее юбку. Люди, стоявшие у клетки, опустили вилы; знакомство состоялось.

Выйдя из клетки льва, мы пошли по клеткам тигра, гиен, медведя, волков.

Три недели спустя был объявлен наш дебют под таким названием: «Христианские мученики».

Она была одета римской девственницей, я — Полиевктом[12] времен упадка, и мы изображали христиан, брошенных на съедение диким зверям. Я написал соответствующий текст, и его выкрикивал перед клетками Бетине, который был одет палачом, — горькая ирония! Мы принимали позы мучеников: опускали головы под морду тигра, вкладывали руки в пасть льва.

Наши костюмы сверкали при свете газа, мой гигантский рост придавал мне вид грозного героя. Розита, в светлом трико, опьяненная опасностью, трепещущая, походила на святую Терезу, умирающую в экстазе.

Зрители следили за нами затаив дыхание, вытянув шею. с пересохшим горлом, временами испуская вздохи ужаса; некоторые шептали:

— Как она прекрасна!

А я, словно и вправду желая вырвать у хищных зверей их добычу, обнимал ее обнаженными руками, и бывали минуты, когда мне хотелось задушить ее, — те минуты, когда, изнемогая и вся дрожа, она забывала о великане, забывала о львах и искала своими голубыми глазами Бетине, стоявшего перед клеткой, клоуна — палача Бетине, чтобы улыбнуться ему!

— Нам щедро платили, и мы имели огромный успех.

Но вот искалеченный укротитель вздумал продать свой зверинец. Мы опять остались бы на улице, без всяких сбережений — с Бетине было невозможно их сделать, — если бы хозяин, в сущности добрый человек, не выделил для нас двух клеток и не уступил их нам, предоставив рассрочку для уплаты.

Мы взяли их и стали пытаться зарабатывать на жизнь. Но нет, нищета возвратилась.

Мы водворились на несколько недель в маленьком южном городке, надеясь поправить там свои дела и, быть может, пополнить наш зверинец еще одним тигром или медведем.

Ничего не вышло, и не прошло месяца, как мы всем задолжали — ив гостинице и мяснику. В один прекрасный день он заявил, что не будет отпускать нам корм для зверей до тех пор, пока мы не расплатимся с ним.

Что было делать?

Это случилось в праздник; мы еще прежде объявили, что в этот вечер войдем в клетки, а звери ничего не ели. За решетками слышалась страшная возня, звери рычали, глаза их налились кровью, в брюхе было пусто.

Я выкрикивал отчаянные проклятья. Даже Бетине немного приуныл. Розита плакала, держа на руках Виолетту; бедная малютка грызла последний кусочек черного хлеба.

В цирках мне случалось видеть, что в конюшне не хватало соломы или овса в яслях... Но лошади могут ждать. В зверинцах не ждут. Между тем час представления приближался.

Войдем мы или нет? Нас ждала верная смерть.

Розита снова побежала к мяснику — ведь вся наша жизнь раскачивалась сейчас на крюках его лавки. Она вернулась в полном отчаянии.

Тогда я выхватил Виолетту из ее рук, побежал сам к торговцу мясом и показал ему бедную малютку, с трудом кусавшую черствый хлеб.

— Послушайте, — вскричал я, — вам будет уплачено сполна! Сейчас я объявлю по всему городу, что вечером войду в клетку льва и буду щипцами раздражать ему ноздри до тех пор, пока он не зарычит и не разъярится. И со мной будет моя дочь! Так угодно ли вам, чтобы перед этим лев поел?

— Лев поел, а вечером пришла толпа, гнусная толпа, которая жаждала жуткого зрелища и потребовала, чтобы, как ей было обещано, отец и дочь вместе вошли в клетку.

Я впервые ощущал страх, а животное казалось разъяренным.

Пришлось подчиниться! Крики публики, страх перед мясником, необходимость заработать на кусок хлеба толкнули меня в коридорчик, откуда был выход в клетку, и я вошел с Виолеттой На руках.

Лев хорошо знал ее, и еще сегодня утром она несколько раз запускала ручонки в его гриву.

Но вынужденный пост в течение целого дня разозлил кровожадного обитателя клетки, и, когда я вошел, он глухо зарычал.

Затем, не дожидаясь, чтобы заговорил мой хлыст, он встал на дыбы, положил обе передние лапы мне на грудь и застыл в этой позе, глядя мне в глаза.

Голова зверя показалась мне огромной. Его жгучее дыхание пахнуло мне в лицо.

Я задрожал. Лев почувствовал это.

Спокойно, беззвучно он снова опустился на четыре лапы.

Я хотел выйти, но он встал между мной и дверью.

Тогда, собрав всю свою волю и поставив на карту все, одной рукой я прижал к себе плачущую Виолетту, а другой хлестнул хищного зверя бичом по морде.

Боль исторгла у него такое дикое рычание, что зрители похолодели от ужаса.

— Выходите! — крикнуло несколько голосов сразу.

А зачем вы заставили меня войти сюда, убийцы?

Мне удалось все же пройти мимо льва и приподнять дверь, но для этого я вынужден был отвернуться от врага и на один миг оторвать взгляд от его глаз.

Я услышал прыжок, обернулся... Убийство совершилось.

Личико нашей бедной малютки было сплошной кровавой раной, и глазки висели, вырванные львиными когтями.

Одним ударом он разодрал ей лицо и лапой заглушил крик. Увидев эту обезображенную головку, толпа испустила вопль ужаса: у ребенка не осталось даже рта, чтобы кричать.

Лев отошел в угол и лег. Теперь я имел возможность выйти из клетки.

Виолетта прожила еще некоторое время, но это была уже не она: то, что осталось от ее лица, было страшно. Ее можно было бы показывать за деньги, как монстра.

Розита жестоко страдала, и в течение нескольких недель я не видел, чтобы Бетине прокрадывался в конуру, служившую альковом.

Лукавый, до гнусности хитрый, он сумел стушеваться перед лицом несчастья. Думаю даже, что он сумел выдавить крокодиловы слезы, чтобы проявить сочувствие к материнскому горю.

А что сделал я? Совершил безумство.

Я убил этого льва в рукопашной схватке.

Он был найден мертвым в своей клетке, а я лежал там же, залитый собственной кровью, зарывшись лицом в его раны.

Великан расстегнул жилет и показал мне грудь, искалеченную, искромсанную, покрытую страшными рубцами.

— Убив льва, я окончательно разорил нас, и на мое лечение пришлось продать все, что оставалось.

Мы продолжали еще таскать по ярмаркам несколько тощих гиен, но они не делали сборов, и в конце концов, постепенно распродав наш дикий скот, мы снова впали в нищету и вынуждены были всячески изворачиваться, чтобы не умереть с голода. Счастье еще, что нам удалось купить фургон, тот самый, который у нас сейчас, и доски для балагана.

— Пожалуй, — сказал великан, — я мог бы прервать на этом рассказ о моих приключениях... Тем более, — добавил он с видом человека, покорившегося судьбе, — что тут, собственно, и кончается драма.

Я примирился со своим позором. Виолетта умерла. Я уже не борюсь с течением и пустил свое сердце по воле волн.

Бетине по — прежнему любовник Розиты. Он бьет ее и изменяет ей. Я утешаю ее и кормлю. Но любит она его.

Ханжа и трус, я делаю вид, что ничего не знаю, и если им случается выдать себя при мне, я угодливо прикидываюсь глухим и слепым.

Порой я слышу через перегородку их вздохи, смех — впрочем, смех теперь стал редок... Когда же мне кажется, что они могут меня заметить, я прячусь от них и забираюсь в самые темные углы.

Время от времени Розита бросает мне подачку, и я принимаю ее: постыдные ласки, гнусная любовь.

Вот так-то мы — циничное трио каторжников — и влачим втроем наше жалкое существование.

Каждый в отдельности отлично мог бы заработать себе на хлеб, но вот в силу какого-то безмолвного соглашения, в котором переплелись ревность и трусость, мы живем, окунувшись в грязь и стыд по самое сердце.

Так проходят дни, месяцы, годы. И здесь, — великан показал на свою шевелюру, — здесь уже немало седых волос.

Я обязан был приносить пользу мне подобным и мог занять свое место в мире.

Что подумает бог, когда потребует от меня отчета в моих деяниях?

— Господи, — отвечу я, — я гадал на картах, держал шест, бил в барабан...

Достаточно ли этого, чтобы попасть в рай? Поймет ли он?.. Иногда меня охватывает желание уйти! Но куда?

Разве легко мне будет сейчас начинать все снова? И разве Достаточно мне прийти в коллеж, чтобы найти там свою прежнюю кафедру и учеников?

И главное, что станется с ними, если я их брошу? Я — лучшая карта в их игре, их козырь.

Бетине ленив; к тому же водка сожгла его красноречие.

Розита морщится теперь при виде сорокакилограммовой гири и чересчур растолстела для акробатических номеров.

Вот так мы и будем жить до тех пор, пока кто-нибудь из нас не умрет. Они — любя и презирая друг друга, я — уте шаясь и немного гордясь тем, что приношу жертву. А что будет дальше?

Будет то, что угодно богу. Я заслужил свои муки и не стану сетовать на наказание.

Тут великан поднялся с места и указал на побледневшее небо, предвещавшее скорый рассвет.

— Вот и утро, — сказал он, — а вечером мы должны быть в Медоне. Пойду разбирать балаган. В полдень мы будем уже в дороге.

Мы спустились вниз и еще немного поговорили, наслаждаясь утренней прохладой, потом расстались.

Я бродил по окраинам, пока не проснулся Париж, затем направился домой, размышляя над только что услышанной историей— типичной историей Человека. Извечная комедия! Бетине одурачивает великана. Шут убивает героя.

Проходя через ярмарочную площадь, я издали заметил высокого гимнаста, задумчиво и спокойно сидевшего на камне возле фургона: он ждал пробуждения Бетине и Розиты.

# Примечания

1 Арвер Феликс (1806–1850) — французский поэт и драматург, автор сборника стихов «Мои потерянные часы»; снискал себе популярность сонетом, называемым обыкновенно «сонетом Арвера».

2 Дидье — персонаж из драмы Гюго «Марион Делорм».

3 Дегрие — герой романа аббата Прево «Манон Леско».

4 Биас — один из семи греческих мудрецов (VI в. до н. э.). Во время осады Приены Биас, уходя из города без всякого имущества, на вопрос удивленных сограждан, уносящих с собой ценности, ответил: «Все мое уношу с собою».

5 Барнум Тейлор — американец, цирковой предприниматель.

6 Дома и на миру (лат.).

7 Варавва. — По библейскому преданию, разбойника Варавву должны были казнить вместе с Христом на Голгофе. Римский наместник Пилат, осуществляя свое право помилования одного из преступников в праздник пасхи, под воздействием первосвященников отпустил Варавву.

8 Пактол — золотоносная река в Лидии, ныне носящая название Сарабат.

9 Леверье Жан (1811–1877) — французский астроном, директор Парижской обсерватории.

10 Лимейрак Полен (1817–1868) — реакционный журналист, главный редактор газеты «Конститюсьоннель».

11 Ламенне Фелисите — Робер (1782–1854) — французский публицист и политический деятель.

12 Полиевкт (III в.) — римский военачальник, принявший христианство и подвергшийся за отступничество от прежней веры мучительным пыткам.